

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Я ДАЖЕ СПАТЬ НЕ МОГУ
В ОДНОЙ КОМНАТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ»11
ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ
14.09.2001

МИХАИЛ ЛЕВИТИН:

Веч. клуб — 2001.
— 14 сент. — с. 11ВСЕ ЛЮДИ,
ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬ НА НИХ ТРЕЗВО,
ОЧЕНЬ СМЕШНЫЕ

Почти двадцать лет назад, в 1982 году, Михаил Левитин поставил у себя в «Эрмитаже» «Хармс! Чармс! Шардам!» по Даниилу Хармсу и сразу же вслед за этим «Хронику широко объявленной смерти» по повести Маркеса. Прошло восемнадцать лет, и вновь на левитинской сцене две премьеры, как бы срифмованные с их давними предшественницами — это «Белая овца» по мотивам того же Хармса и «Эрендира и ее бабка» по рассказу Маркеса.

— Михаил Захарович, почему через столько лет вы снова обратились к Маркесу?

— Я всегда повторял, что составляющие театра — Пушкин, советские 20-е годы и латиноамериканская литература. Почему? Сказать трудно. Так уж сложилось. Мы даже слетали в этом году в Уругвай на фестиваль спектаклей по Маркесу. А на будущий год у нас есть приглашение на потрясающий фестиваль в Бразилию и Колумбию. Мне это очень нравится, мои интересы на том континенте огромны, и мои художественные амбиции будут вполне удовлетворены, если мы будем там приняты. Это любимый континент моего детства.

— А откуда такая любовь?

— Я сам всю жизнь об этом думаю. Может, из-за того, что я родился в Одессе, а может, виной тому — великий латиноамериканский провинциализм и пренебрежение ко всему, кроме природы и настоящей правды. Во всяком случае, я связываю свое представление о Латинской Америке, прежде всего, с людьми, так же мыслящими, как и существующими.

Я вижу нашу жизнь так же экзотично, как видит латиноамериканец свою. Мне кажется, это не столько особенность их этнографии, сколько особенность взгляда. Мне чрезвычайно близко их раскованное языческое существование; здесь мы все страшно нравственны, мы — ужасные морализаторы и вооружены богом, как идеологией. А там это шире, чувственней, человечней.

— Этот симпатичный образ Латинской Америки пришел к вам из литературы?

— Скорее — из поэзии. Когда-то давно я с наслаждением читал Гарсиа Лорку и чилийского поэта Пабло Неруду. Одно время даже учил испанский язык по пластинкам. Это было в Ленинграде, северном и холодном городе.

— А как у вас началось с «Эрендиры»?

— «Эрендиру» я начал ставить несколько лет назад, и с ней у меня была большая возня, пока я не понял, что мне нужно совсем забыть о тексте Маркеса и написать оригинальную пьесу. Я двигался на ощупь, как сле-

пой, пока не понял, что сценическое не имеет никакого отношения к своему литературному первоисточнику; но это происходит со мной каждый раз: я все время как будто ничего не понимаю и опять начинаю заново. И это составляет главную прелесть моей жизни — ничего не знать и начинать все заново.

— Неужели такое возможно?

— Да, я стираю все свои спектакли. Мне совершенно не интересно после премьеры мнение людей, оно меня ни капли не беспокоит: главное, что я сам прожил свою жизнь и стер ее с доски, буквально. Это особенность моей психики. И она помогает мне вести диалог не с людьми, а с чем-то более существенным, чем все мы. Это не надменность моя, ни в коей мере. Это моя независимость, которая, я знаю, слишком многих раздражает. Я нежно отношусь к людям, но не придаю никакого значения людским отметкам. И сам ненавижу их выставлять. Поэтому наш театр существует очень независимо, и в этом его упорство. Я считаю, для окончательного его признания нам нужно прожить еще полтора года. Тот интерес к театру, который я чувствую, будет еще сильнее и мощнее.

— Скажите, а это трудно — идти вопреки своему времени?

— Я этого не знаю, это не мои проблемы. В свое время я не заметил коммунистов, я не знаю, что такое антисемитизм. Я просто очень много думаю, о том, что происходит в театре. Мне очень интересно уловить подсказку того, кто ведет меня по жизни. Мне хочется понять, что от меня требуется. Есть периоды, когда от меня ничего не требуется, и тогда я в растерянности.

— Я читала ваши последние книжки, смотрела спектакли, и мне показалось, что вы все время возвращаетесь и к своим любимым обериутам?

— Это неправильно. На самом деле, меня просто легче связать с обериутами, потому что я первый в мире их ставил. К тому же у меня есть книга, написанная на тему Введенского, крупнейшего поэта из этой группы. Этот роман называется «Убийцы — вы дураки». Мне все время хочется понять, как людям удается уцелеть, как они сохраняют себя ну просто в

чудовищных условиях! Мне очень интересно следить за необычными существами и художниками, не вписывающимися буквально ни во что! Такими, как режиссер Терентьев или Введенский и Хармс. Понимаете, они были сбоку припеку этой жизни, а потом оказалось, что они — главные художники столетия.

Да, обериуты — это крупнейшие поэты XX столетия. Сейчас в Париже издан том Хармса в переводе моего швейцарского друга Жана Филипа, и это самая дорогая книга Парижа. Она очень хорошо раскупается. И, кроме того, Хармса очень много ставят в Европе — и в Германии, и в Голландии, и во Франции.

А вообще, обериуты были очень веселые, легкие и прелестные люди, которых так кошмарно втиснули в контекст эпохи. Одного, Введенского, расстреляли, выбросив где-то на полпути из вагона, Заболоцкий сидел, Олейников тоже расстреляли.

— Когда началось это ваше увлечение?

— Году в 1978-м, не раньше. Тогда начали потихоньку печатать Хармса, и я уловил в нем свой театр. Мне всегда не хватало своей литературы, которая совпадала бы с моим пониманием реальности. А я воспринимаю нашу реальную жизнь, как очень нелепую и смешную. Мне очень интересно жить, мне интересны мои каждодневные внутренние события — они такие фантастические! Да и люди, если взглянуть на них трезво, очень смешные. Все смешные, очень несчастные и обречены на общую печальную участь. И если это кем-то выдуманно, то выдуманно крайне прихотливо, забавно и нелепо. И все это есть в Хармсе. Когда-то все эти поэты называли себя объединением реального искусства, обериутами, и это была абсолютная правда, они действительно видели мир, я имею в виду послереволюционный мир, таким, каков он есть, во всем его абсурде и нелепости.

Я, кстати, с очень большим интересом отношусь и к революции, потому что именно она создала хаос, который мне бесконечно любопытен. Да, он может уничтожить очень много талантливых людей, но он многое нам и рассказал про людскую природу. Очень интересны последствия этого глубоко выстраданного природой взрыва, и, как мне кажется, литература 20-х годов была наиболее адекватна тому времени.

— Когда вы успеваете писать свои книги?

— Сейчас это принимает параноидальный характер, я могу писать в любое время года. Но обычно пишу в конце сезона и несколько месяцев летом. В зависимости от задачи, мною поставленной, я уезжаю либо в Матвеевское либо в Малеевку. Если задача аскетическая, то это Дом ветеранов кино в Матвеевском, где нет ни природы, ничего. Если это Малеевка, то я могу там купаться или по лесу бегать, и от этого тоже польза бывает.

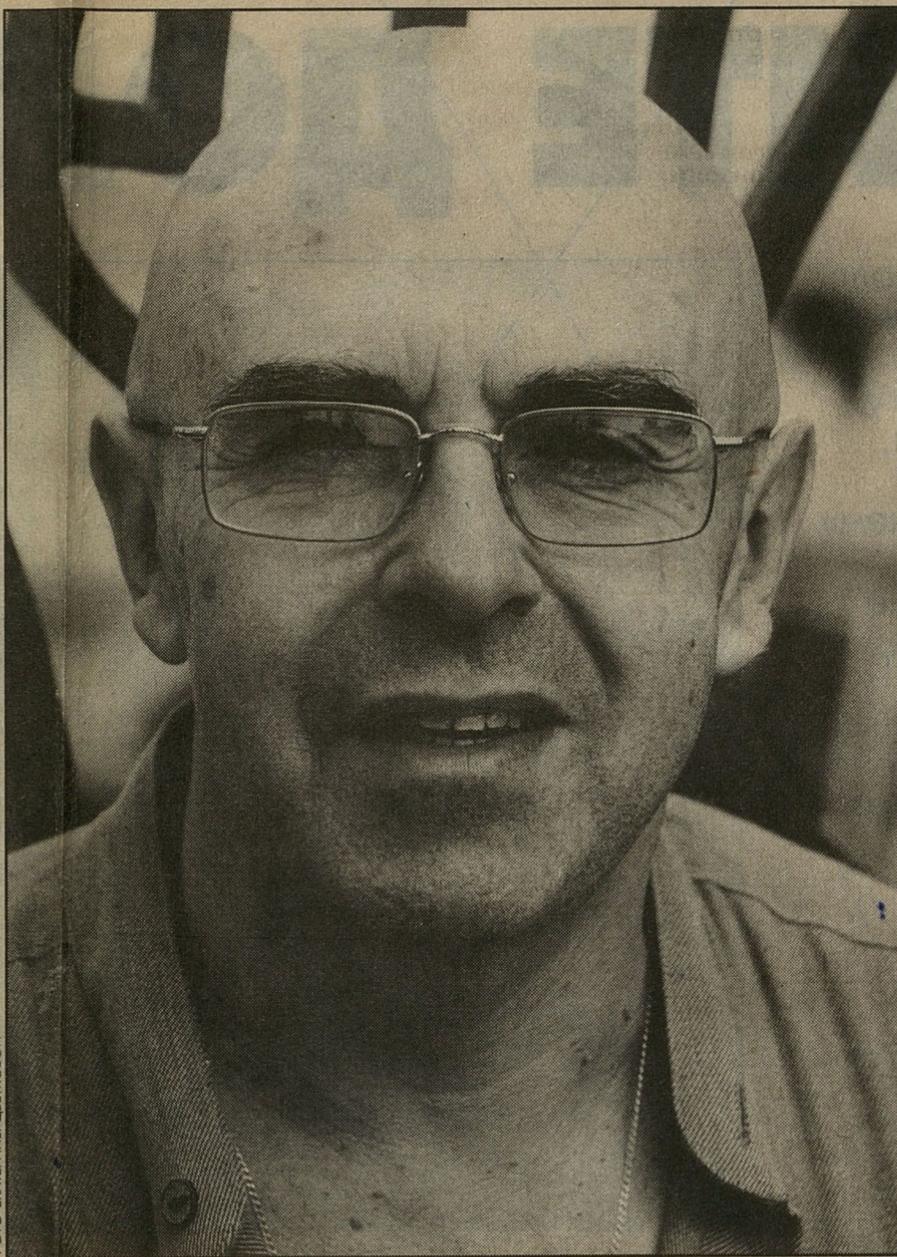


ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ЦВЕТКОВОЙ

Кстати, пишу я всю жизнь только карандашом. Я даже спать не могу в одной комнате с компьютером, меня буквально мутит. У меня богатая коллекция карандашей, больше 1000, но предпочитаю я только простые, а желаннее всего мне — нелакированные и некрашенные, какие бывают у французов и немцев.

И еще — я безмерно верю в свои книжки, но не потому, что они останутся после меня, а потому что я пишу их для своих детей — своего потрясающего сына и чудесной дочки. У меня есть своего рода наследственная линия: в свое время я боготворил своего отца, хотя он не был интеллектуалом, но был человеком удивительной доброты и нежности к людям и одновременно — настоящим мужчиной. Его обожали женщины. Он был совершенно изумительным, и теперь мой сын похож на него и относится ко мне так же, как я относился к своему отцу. Я даже думаю, что эта мужская линия — особой любви между отцом и сыном — была у нас в роду всегда.

— Но ведь это не просто какая-то линия, это вы сами должны быть потрясающим отцом, чтобы вас боготворили...

— А я и есть потрясающий отец даже с точки зрения их мамы, с которой мы уже раз-

велись. Я совершенно нескромен в этом плане, потому что я действительно очень занят моими детьми. Я очень плохой семьянин и ужасный муж, но с детьми как-то получается, и взаимно. Я очень внимателен к каждой минуте жизни моего сына. С дочкой труднее, потому что она мне не открывается, даже играя у меня в театре. Но я думаю, это связано, прежде всего, с женской природой. Она очень хорошая, прелестная, но постичь мне ее очень трудно из-за моих отношений с другим полом. Все-таки я отношусь к ней как к женщине. Что же касается сына, то я просто занят им.

— И у вас никогда не было периодов непонимания?

— С дочкой в первой половине ее жизни было. Между нами всегда стояла ее мама. Но потом, после 16 лет, когда мы разошлись, она стала моей дочкой. Она вдруг увидела меня и ко мне как бы внутренне вернулась.

А вообще мне с женщинами очень интересно. Мужчины-то что? Как говорят сами женщины — козлы они, да и все! А у женщин невероятный артистизм и что-то такое красивое, ускользающее...

Встречалась
Лилия БАЙРАМОВА